

АЛЕКСАНДР МОРЕВ

Умерла.

Унесли.

Тихо.

Дождь по трубам — и снова сухо.

И земля на могиле прахом.

И цветы на могиле пухом.

Это жизненная прострация —

Под бельем ее чистым в комоде,

Под газетой старой в комоде,

Где написано о народе,

Трехпроцентные облигации.

Неизменно все было серым.

А потом вдруг стало черным,

И вот совсем неизвестным...

Все сначала было тесным,

В потом простым и просторным.

Если жизнь опадет шелухой
в сумасшедшем смехе невежд,
мир оденется, как глухой,
в складки белых больничных одежд.

И не будет надежд и прав,
и не будет вешних трав.
И не будет правый прав,
и не будет ни слов, ни слав.

Но всплывут опять острова,
и поднимется снова трава.
И поднимется голова,
и опустится булава...

В окне был июль, не помню, какого года,
Я вошел и повесил шляпу.

Она улыбалась мне,

нет, не шляпа, а женщина.

Она шла мне...

шла мне навстречу,

очень медленно,

очень пристально улыбаясь глазами
где-то там, с другой стороны глазных яблок,
на самом дне черепных глазниц,
и ждала...

Я протянул к ней руку,

свою единственную руку,

я взял в свою ее руку,

такую холодную, невозвратную

давнюю муку...

Кто же бросится первый, но кто же ?!

И тут вдруг упала она,

нет, не женщина — шляпа.

Вот мерзавцы, шляпных дел мастера,

или вешалка винована,

или это моя рука,

что дрожала ее повесив, —

я не поднял ее, не поднял —

я все понял!

Пусть валяется старая стерва!

Ведь она улыбалась мне

нет, не шляпа, а женщина.

О, безволя порыв!

Или страх, или звук упавшего фетра
пробудил в ней весь пыл:

она с криком повисла на мне!

Поднялась, поднялась снова пыль

над воронкою страшного лета!

Уронил я костыль —

ведь она была замужем,

а я любил ее мужа.

Да, что делать,

я очень любил ее мужа.

ведь когда-то давным — давно

я подарил ему запонки,

такие чудесные запонки...

О какие давние запахи!

О какие дивные волосы!

У меня по щекам текут ее слезы и волосы,

у меня по щекам текут ее губы без голоса...

О какая давняя заповедь!

Память моя — твои волосы,

память твоя — мои возгласы...

Но молчал я, молчал...

И когда я нагнулся и поднял свой костыль,

и когда я нагнулся и поднял свою шляпу,

свою старую, страшную шляпу,

свою вечную, верную шляпу,—

она вдруг упала,

нет, не шляпа, а женщина...

она обняла мой костыль

и заплакала страшно, навзрыд!

О моя единственная женщина.

М Е С С А

Чтобы быть полноценным человеком,
мне нехватает ребра.

Адам

Когда терновник колючей проволоки

опутывал

морщины траншей на лбу земли,

все было, как в среду,

как вчера,

как утром,

струсил сержант

и мы залегли.

Он был бледен, как свадьба без гостей,

как тысяча чертей

я был отважен,

вшив и нищ,

но мы увидали на черном небе

прожектора костей

и белый череп луны

над трубами пепелищ.

И такая тишина

после выстрелов наступала,

такая неземная благодать,

что казалось:

сама Богоматерь

акуницию снять помогала,

и постилала ответым

свое облако- кровать.

Самолет взорвался гулко

за шоссе,

за перекрестком,

на площадке качнулся бурьян

у ржавой бензоколонки,

а где-то замерли дети,

засыпанные известкой,

а где-то спали поэты

у гуманистов на книжных полках...

И спали солдаты

и каждому снилось ночью:

конюху — кони,

кому-то — коньяк,

пекарю — теплое печенье,

а другу моему —

распущенные волосы,

а недругу — тоже:

губы, очи,

а другому — не губы, не очи,

а амбразурные щели,

что на него вчера днем глядели.

И вот снова ночью...

Мой вешмешок был пуст иллюзиями,

и поэтому мне снился снег,

как манна небесная белый,

как ломоть арбуза душистый,

первозданный, как бедность,

своим первозданием чистый.

Снег был кругом,

снег был всюду:

лежала в снегу Рязань,

были в снегу Сиракузы,

и лежал в снегу Архимед

с автоматом.

Курновы

и с коллизиями,

а еще — старый Бах в парике,

что органно-серебрянно трубен,

и напудрен был,

тучен и трупен,

рядом с трупом лошади

с пулей

в заснеженном черном виске.

И всю буйность чувств,

и всю очевидность истин,

всю красоту Гогена,

всю простоту Эвклида

мир сталкивал на ладонях

все щедрости,

все корысти

всю умность диамата
 на тупость динамита.
 И когда кто-то рыжий
 как клоп,
 как поганка
 целился в меня из черных щелей бойниц,
 я поднимался
 огромен
 вровень с танком,
 и танки становились надгробиями,
 подобиями
 гробниц.
 А утром солнце вставало
 красное как рак,
 как плаз пропойцы,
 такое неласковое и ненастное,
 страшное,
 кроваво —бестрастное,
 как ночью лампада в доме
 покойницы,
 солнце вставало там, за депо,
 где молчат поезда,
 такое, как в среду,
 как вчера,
 как не всегда,
 и уходило куда-то,
 багровое, садилось,
 красное не от заката,—
 оно чего-то стыдилось.
 Мы отстреливались не молча,
 чего-то всем было мало:
 первому — Бога,
 пятому — хлеба,
 десятирым — табака,
 и всем не хватало истины,
 земли, как всегда,
 всем хватало.
 И в землю ложились сыны Адама—
 расстрелянные века.
 А когда отступали— в сапогах болотных жиж

с кровью хлюпала, как испорченный насос,
но в нас жила такая жадная

жажда

жизни,

что мы еще любили, матерились

и жили врасос.

Я хочу, чтоб разделся бог,
чтобы снова был наг,
чтобы тот, кто должен долг,
перед нами не был нагл!
Дайте тонким пальцам рояль,
сильным пальцам дайте плуг,
пусть над пальцами будет печаль,
пусть в лесу, в грозу- испуг!
Пусть же ада атомный дождь
не закроет веки в веках,
пусть боятся бог, царь, вождь
Баха, пахаря и рыбака!
Облака- тампоны в кровавой пене,
солнце красным лбом вылезает-
это раздвинув гор колени-
н о в ы й д е н ь

Земля рожает!

Правда- это не жертва!

Правда- это жатва!

Пусть топчут сандалии юношей
и девушек босоножки
эту ядреную Землю,

вечную как завтра,
бодрую как полдни,
добрую как ночи!

57.61.

В О С К Р Е С Е Н И Е

Лубок

Верба набухла, серебром распушилась,
празднуя теплое солнца рождение,
и странное, светлое что-то случилось
с обычным днем и словом "воскресенье".
Не успела весна в пасху розу воткнуть,

с кулича полотенце русское снять, —
 а дед уже графинчик успел кувырнуть
 и нам, ребятам, по стопочке дать,
 и Зинка как будто суровее стала —
 меня, не то что в гостях у берез,
 как чужого три раза поцеловала,
 словно взрослая, холодно, не всерьез.
 Но вот старухи на солнце вышли,
 и мчимся мы за вербою в лес.
 И жутко и радостно мне от мысли,
 что правда, где-то Христос воскрес,
 А вечером дедка с зинкиным батей
 напились и стулья стали ломать,
 и било, и было грязным в распятыи
 святое и чистое слово — мать!
 Мы с Зинкой сидели в углу и молчали,
 мы не смотрели на образа,
 страшно было, когда встречали
 в темном углу немые глаза.
 И Зинка во двор увела меня:
 "Он не воскрес... Он не любит их..."
 А рядом плакали куры, клюя
 скорлупки яиц цветных.

49

ПИНГ-ПОНГ

Очко в ее пользу! — два очка!
 Я рассеян и играю плохо.
 Мать ее следит, улыбаясь, за мной,
 и собака умная, умная около
 смотрит, как играю я в теннис с женой.
 Жена моя, ты милая,
 совсем еще ты девочка,
 такая очень хрупкая,
 такая очень женственная,
 мной еще не согнутая,
 нежная, хорошая,
 а щеки уже натерты
 моей щекой заросшей.

Ты с матерью обедаешь,
со мною ешь свой ужин,
ты еще не ведаешь,
какого нашла мужа.
Ты не знаешь горького
хинина, хинина
и стыда abortного
в холодке простынном.
Ты просто просыпаешься,
как девочка, ночью,
просто в простынях проста
ты бываешь очень.
Стынешь в простынях, молчишь
жаркими губами,
но-еще не говоришь
то, что знают мамы.
А шарик совсем маленький,
все прыгает, все скачет,
он беленький, он жалкий,
мне не несет удачи.
Брошу и тебя, жена,
поздно ли, рано ли...
Будет в среду тишина,
будешь в сердце ранена...
А пока ты- егоза,
быстрые мысли,
расплескала глаза
брови-кормысли...
Только радостью большой
я давно утрачен,
только шарик озорной
все прыгает, все скачет...
Мама, мама, не смотри
на дочку с улыбкой:
"О-И" набери,
телефон-улитка!
Ты не знаешь, что она
пламень не потушенный,
что она уж мне жена,
но что я- не муж ей!

Шарик, шарик, помоги
 криво ли, прямо ли.
 От тебя в глазах круги,
 от тебя я пьяный...
 Обе смотрят на меня,
 обе побледнели?!
 Наступил на шарик я-
 раздавил, белый.

Заселять словами книги,
 расталкивать спящие бревна,
 смотреть в оба глаза в воду,
 замечать одноглазых камбал,
 выбирать из мелочи главное,
 выбирать как первого друга,
 перебирать ассоциации,
 как холодные пальцы любимой,
 и на миг задержаться в воздухе,
 широко раскинуть руки,
 подкосить на бегу колени
 и упасть лицом в траву...

x 63

Опаздывать- во всем опаздывать,
 и опазданий не оправдывать.

Забывчивость- выйти из дома,
 оставив в столе сигареты,
 и стрелять у прохожих.
 Забывчивость- оставить на вешалке шляпу
 и надеть чужую, мокрую кепку.
 Забывчивость- снять телефонную трубку,
 набрать номер,
 и не помнить, кому и зачем звонишь.
 Забывчивость- весной, торопясь на работу,
 остановиться в скверике

и шурясь, смотреть на деревья.
 Забывчивость— жить в двадцатом веке
 и любить звук клавесина и чембала.
 Забывчивость— быть занятым самим собой,
 как яблоня— яблоками.
 Забывчивость— выходить из дома,
 ключ в дверях,
 и идти, подняв воротник, по трамвайным путям,
 по мокрому пригороду,
 к кольцу,
 как к концу.
 Круг замкнулся.

Плевать на погонные метры дороги
 идущей вспять,
 плевать на сумрак дня,
 ушедшего в прошлое,
 плевать на подонков и на поганки,
 плевать на окно с видом на залив,
 плевать на разорванные книги,
 и на оторванную пуговицу ширинки,
 плевать на цветы в руках продавщицы,
 плевать на все, что продается,
 а не дарится,
 плевать на стол, заваленный окурками,
 и мысли потухнут как сигареты,
 плевать на столб дыма и пепла над землей,
 после грибного дождя в четверг,
 плевать на гениальных людей,
 закрывающихся с женщинами в спальнях,
 плевать на комочек простуды в горле премьера,
 плевать на людское головопятство,
 которое не закроешь шляпой, как лысину.

Набрать в рот тухлой воды
 и плевать, плевать...

В солнечный день
 холодные коленки любимой,
 собака, грызущая ошейник,
 на солнечной стороне улицы...
 Быть "пригородным" мчащимся к морю,
 встречать удивление в окнах
 встречного,
 проноситься под солнцем
 мимо дюн и мокрых перонов,
 задевая щекой
 листву огромных деревьев,
 забыть в поезде
 непромокаемый плащ,
 по песку выйти к морю,
 чтоб узнать тишину земли
 в шуме
 набегающих волн.

Страшно,
 когда молчат
 холодные губы любимой,
 страшно
 нести ее на руках,
 когда помогают трое,
 страшно
 видеть, как солнце садится в снега,
 а кругом ни души: одни лыжники в синем.
 Страшно
 слышать свои шаги
 в пустом городе
 после долгой дороги вдвоем
 на край света.
 Страшно
 неузнанным быть
 и все видеть сквозь стены домов
 и сквозь души людей,

как сквозь стекла аквариума.

Страшно

потерять последнюю спичку костра
и не иметь терпения первобытных.

Страшно

увидеть, как в синих сумерках утра,
губы красит другая ее помадой.

Страшно

узнать, что счастье — то,
что между двумя несчастными.

Страшно

забыть ее голос
и вдруг снова услышать его в трмвае,
и качаясь, закрыть глаза.

Страшно

привыкнуть к мысли,
что она далеко и не оставила адреса,
и писать ей письма .

Страшно

увидеть, как горит дом любимой,
хоть она давно умерла.

Если начнется дождь,

все равно буду стоять у букиниста...

Если начнется война,

все равно буду стоять у букиниста...

И если меня не будет,

все равно буду стоять у букиниста —
незримый, как ветер, шевелить листы

пожелтевших книг...

Отдавший зерно, получит хлеб.

Отдавший меч, получит плен.

Отдавший жизнь, получит крест,

Отдавший долг,

может снова просить займы.
